



"Ты - никто, и я - никто", "безымянность нам в самый раз, к лицу". Но так и должно быть. Ведь "воображать себя// центром даже невзрачного мирозданья// непристойно и невыносимо". И когда уже ничего не остается, остается только идти, просто идти, не ломая ради цели все, и себя в том числе. "Бей в барабан, пока держишь палочки,// с тенью своей маршируя в ногу". Когда уже ничего не ждешь, тогда и можно спокойно поблагодарить за все пришедшее, не привязываясь к нему и не боясь новой потери. "И пока мне рот не забили глиной,// из него раздаваться будет одна благодарность". Только незаинтересованный взгляд и может воспринять всю переполненность окружающим.

"Благодарен за все" - шепчет Бродский в конце "Римских элегий". "Я был в Риме. Был залит светом. Так,// как только может мечтать обломок!// На сетчатке моей - золотой пятак.// Хватит на всю длину потемок."

Замерзший ястреб возвращается к земле чистейшим первым снегом, и дети кричат: "Зима, зима!"

Заметим, что состояние отрешенности, к которому пришел Бродский, хорошо знакомо мистике. Поскольку Бродский ориентируется в основном на европейскую культуру, вспомним такого принадлежащего к ней мистика, как Мейстер Экхарт: "Истинная отрешенность не что иное, как дух, который остается неподвижным во всех обстоятельствах, будь то радость или горе, честь или позор", "в страдании человек обращает взор на создание, из-за которого он страдает, отрешенность же, напротив, свободна от всякого создания". "Отрешенность... вообще не может молиться, ибо кто молится, тот хочет чего-либо от Бога, что было бы дано ему или отнято у него. Но отрешенное сердце не хочет ничего и не имеет ничего, от чего хотело бы освободиться". Но мистик опустошает себя, чтобы быть преисполненным Богом. Чем преисполнен Бродский, чье отношение к Богу достаточно неоднозначно, чья вера отказывается отрываться от непосредственно наблюдаемого? "Больше не во что верить, опричь того, что// покуда есть правый берег у Темзы, есть// левый берег у

Темзы. Это - благая весть". "Прямая линия эвклидова падения в пустоту - или большая буква, Ты.<...> Эти две возможности у Бродского обе и названы, и доведены до последовательной ясности образа. Ни одна из них не больше другой" (А.Расторгуев).

Все у Бродского под вопросом, обо всем высказываются либо развенчивающие, либо предельно антиномичные суждения. Кроме одного - речи, еще шире - культуры вообще. Здесь у Бродского появляется необычная для него торжественность. Это уже не сыплющиеся из брюк шаги. "Сорвись все звезды с небосвода,// исчезни местность,// все ж не оставлена свобода,// чья дочь - словесность."

"Отчаяние вспыхивает свободой - свободой выговорить все, что происходит в уме, охваченном катастрофой, <...> свободой пережечь весь этот хлам и хаос в кристаллическое вещество стихотворения" (С.Лурье). Вот что осталось у Бродского - творческая воля. "Зачернить бумагу - единственный способ придать смысл пустоте" (П.Вайль, А.Генис). Всякое творчество есть в конечном счете творение из пустоты. Опыт одиночества Бродского - опыт самообоснования в пространстве культуры, доказательство возможности (и возможностей) существования с внутренней пустотой. Но этот отказ от себя, от интереса к себе, от заинтересованности в своих делах, от привязанности, от надежды, от опоры должен быть достаточно глубоким и действительно сопоставимым со смертью. Вот где останавливаются многочисленные последователи Бродского. У них хватает сил только на комнатную иронию, не выжигающую себя дотла. "Человек опасается свободы, поскольку она связана с одиночеством. Поззия есть путь к свободе через это одиночество" (А.Арьев). Свобода слишком важна для нас. И поэтому то, что обнаружил Бродский в своем пространстве, послужит каждому, кто захочет услышать.

# САМИЗДАТ ВЕКА: ЯН САТУНОВСКИЙ

\* \* \*

У часовного я спросил:  
скажите, можноходить по плотине?  
- Идти! - ответил часовной  
и склонул за перила.

Сняв шляпу,  
я понёс  
по плотине,  
овсянной славой  
с левого берега  
на правый  
и статью из Конституции прочёл.

Так вот он, Днепрострой.  
Я вижу  
символ овеществленного труда,  
а подо мной стоит вода  
с одной стороны выше,  
с другой стороны ниже.

сентябрь 1939, Запорожье

\* \* \*

Вчера, оназывая на работу,  
я встретил женшину, ползущую по льду,  
и поднял её, а потом подумал:  
Дурак, а вдруг она враг народа?

Вдруг! - а вдруг наоборот?  
Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель?

Обыкновенная старуха на вате,  
шутят её разберёт.

1939, Днепропетровск

\* \* \*

Мама, мама,  
когда мы будем дома?  
Когда мы увидим  
наши дорогой плебейский двор  
и услышим  
соседей наших разговор:

- Боже, мы так боялись,  
мы так боялись,  
а вы?  
- А мы жили в Андидаке,  
а вы?  
- А мы в Сибири,  
а вы?  
- А нас убили.

Мама,  
так хочется уже быть дома,  
чтоб всё, что было, прошло  
и чтоб всё было хороши.

1941

## 1. ЛИАНОЗОВСКАЯ ГРУППА

### 1.4. ЯН САТУНОВСКИЙ

"Зовите меня "старик Ян", - говорил Яков Абрамович Сатуновский нам - более молодым. В Лианозово, в барак, где у Рабиных была комната, его привёл Володя Бугаевский - вполне благонадежный переводчик, в основном, Лоне де Вега, знал ли он испанский, не ведаю. Главное, в то время это привично кормило литературную братию.

Поэт был худой, несколько лысоватый, с узким лицом, с усиками. Такой вообще дядька из Электростали. И стихи звучали как бы обыкновенно, рифмы и созвучия куда-то прятались, и на слух это была обычная речь, размытия, состояния. К этим стихам сцё надо было привыкнуть. К их совершенной необыкновенности. А Ян, с два увидел на стенах картины и услышал наши стихи, сразу обрадовался так, будто нашёл, наконец, близких родственников.

Стихи свои Ян записывал на библиотечных карточках, я помню, затем переписывал их на отдельные листочки, из которых и составлялась постепенно его единственная единная книга. Я помню, все стихи имели номера, и доходило к концу за тысячу - 1009. Вот сколько стихов - как дневник, но едёт оборвалась...  
А ведь судьба могла сложиться и по-другому. В конце войны майор Яков Сатуновский, будучи в Праге, узнал, что там остановился всеми почитаемый тогда Илья Эренбург. Майор позвонил, ему была назначена встреча, и утром он пришёл в отель. Илья Эренбург занял ракур. Не прерывая, он попросил майора почтить. Правда, после двух-трех стихотворений барин отложил вилку и стал внимательно слушать. Нравилось. И молодой поэт признался матери: он родился из Праги уехать в Израиль, чтобы там жить, бороться и печататься. "Но зачем вам в Израиль? Вас благонадежно будут печатать на Родине, - убеждал молодого маститый. - Я обещаю." И всё наврал. Зачем? Это другой вопрос. Но тогда мы бы читали стихи о войне в пустыне, о верблюдах и арабах. И не было бы этой синей книги, составленной и изданной в 1994 году профессором Вольфгангом Казаком в Минхене, где всё. Всё наше, родное, московское и подмосковное. И Рабин там тоже, и Холин, и я, и Лианозово. Без Яна.

Сатуновского мы были бы исполны.

ГЕНРИХ САПГИР

\* \* \*

Как я их всех люблю  
(и их всех убьют).

Всех -

командиров рот:

"Рот-та, виерёд, за Ро-о..."

(одеревенеет рот.)

Этих. В земле.

"Слынь, Ванька, живой?"

("Замлел")

"За мной, живей, е!"

Все мы смертники.

Всем

артподготовка в 6,

смерть в 7.

1942

Друзья мои, я отоварился!  
Я выбил в кассе жир и сахар!  
Я выскочил, как будто выиграл  
сто тысяч.

Мне  
вышибла мозги  
Москва.

Теперь я знаю, как это делается:  
берётся человек;  
разделяется под орех;  
весь в кровоногтёках, весь.

Он мечется между колоннами метро  
и карточными бурами.  
Он мечтает;  
от него отворачиваются товарищи;  
но он сцё не венць,  
он это он.

Тогда ему суют талон  
и -  
и не я, я отоварился.

1945

\* \* \*

Слушай сказку, детка.

Сказка

опыт жизни

обобщает

и обогащает.

Посадил дед репку.

Выросла - болыня-преболыня.

Дальше слушай.

Посадил дедку за репку.

Посадил бабку за дедку.

Посадил папку за бабкой.

Посадил мамку за папкой.

Посадил Софию Сергеевну.

Посадил Александру Матвеевну.

Посадил Павла Васильевича.

Посадил Всеволод Эмильевича.

Посадил Исаак Эммануиловича.

Тянут-потянут.

Когда уже они перестанут?

\* \* \*

И чем плотней набивается в уши,  
чем невыносимей дерёт по коже,  
тем лучше, говорю я, тем хуже,  
тем, я вас уверяю, больше похоже  
на жизнь, в которой трепет любовный  
сменяется скрежетом зубовым,  
а ритм лирического стихотворения -  
не криком, так скрином сопротивления,  
хрипом...